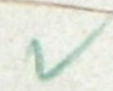


1-й бнз.



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК СССР

1-2 -3.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
1943

Академик Е. В. Тарле

О СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Товарищи, я постараюсь, не останавливая вашего внимания на частностях и подробностях, отметить некоторые моменты в развитии советской историографии, которые, мне кажется, уместно будет вспомнить сегодня, в наши юбилейные дни.

Начать с того, что нам незачем перед мировой наукой извиняться. Мы эти 25 лет не потеряли. С этого надо начать. Вещи познаются сравнением. Если вы со знанием дела сравните то, что сделано, скажем, французской или английской историографией за 25 лет, с конца мировой войны, с 1919 г. до настоящего времени, и сравните с тем, что сделано у нас, то вы увидите, что нам конфузиться совершенно не придется. Так же как и у них, у нас бывали работы плохие, бывали работы хорошие, но общий акквизит наш не мал. Так, если мы скажем, что в общих наших достижениях за эти 25 лет мы ничуть не уступили Франции и Англии, то уже это покажет нам, какая напряженная работа при очень трудных условиях была проделана. Это прежде всего. Недаром некоторые наши исторические работы за истекший период переведены на иностранные языки, а есть и такие советские исторические работы, которые вышли на шести европейских языках.

Я хочу воскресить в вашей памяти (как я воскрешал в собственной своей памяти, готовясь к сегодняшнему докладу), как историческая наука, если можно так выразиться, чувствовала себя с первого момента после революционного переворота.

Архивы наши были сохранены — это прежде всего. Что они были устроены, что они стали доступны, — об этом я скажу дальше, но прежде всего стоял вопрос о сохранении их.

Я отчетливо вспоминаю, как в 1927 г. по просьбе нашего Архивного управления я водил по ленинградским архивам Шарля Ланглуа, знаменитого архивиста и историка, человека, который весь свой долгий плодотворный век провел в архивах и который являлся (теперь он уже покойник) директором Национального архива в Париже — одного из грандиозных мировых хранилищ. Я помню его изумление, когда я его водил по великолепным залам синодального архива. Он все переспрашивал меня, какой это архив. Я отвечал: «Синодальный, святейшего синода». «Святейшего? — переспросил он в изумлении. — Как же этот архив остался у вас?»

Этот архив очень хорошо сохранили, и он в самом деле остался в полном порядке. Ланглуа сказал тогда фразу, которую я тут же дословно записал и передал в архив. Вот эта фраза: «Ваша революция была умнее нашей» («Votre révolution avait plus d'esprit que la nôtre»).

Почему? Да потому, что французская революция сожгла архивы духовного ведомства, так как они принадлежали реакционным силам, а наша революция скрупулезнейшим образом сохранила эти архивы, сохра-

нила бесценные сокровища для общей культурной истории русского народа.

Я не буду на этом много останавливаться. Отзыв Шарля Ланглуа в данном случае вполне авторитетен, потому что он сравнивал, зная досконально все, что касается этого вопроса.

Конечно, в первый момент нашей революции могли пропасть некоторые архивные фонды и пропали в самом деле при эвакуации, при реэвакуации и т. д., но общая масса, колоссальная масса наших архивов осталась. Сейчас советские архивы являются, конечно, одними из первых в мире, являются не только по той принятой статистике, которая отражает километры стеллажей, но и в смысле своего содержания, в том отношении, что с XVI столетия вся русская история перед нами в таких обильных подробностях, каких не имеет ни одна страна, кроме разве Англии. Но ведь Англия не подвергалась нашествиям, в Англии не было после XVII столетия очень бурных народных волнений; у нас же, несмотря на грандиозные революционные бури, архивы сохранились почти полностью. Это — первое.

Второе. Архивы были устроены; было создано Архивное ведомство, никогда в России раньше не существовавшее. В чьих руках были до революции все эти бесценные архивные сокровища? Когда чиновник достигал обыкновенно преклонного возраста (он и до этого возраста не очень-то подходил для такой работы), то он «сдавался в архив». Человека сдавали в архив, и там он владел, не всегда понимая, зачем он там существует и зачем существует то, что он хранит.

Была создана после революции большая сеть по охране архивов. Мало того, было создано и теперь существует высшее учебное заведение в Москве для подготовки ученых-архивистов. Это — второе, что должно было успокоить историков относительно будущей их работы.

Третье, наконец, — это «либерализм», прямо скажу, в похвальном смысле (ибо это слово часто употребляют в одиозном смысле), т. е. широчайшая свобода доступа к архивам. К архивам нашим, разумеется, нельзя допустить человека с улицы, но человека, желающего работать и имеющего хоть какие-нибудь возможности удостоверить, что он приходит в архив не за тем, чтобы похитить или испортить документы, а чтобы работать, — такой человек допускается к архиву; мало того, допускается к таким документам, к которым его нигде, кроме Советской России не допустят. Мне приходилось испытывать отказы в лондонском Форейн Оффис, когда я просил документы, касающиеся Крымской войны. Документам этим отроду около 90 лет, но они все еще признаются слишком молоденькими, чтобы их выдавать непосредственно на руки. У нас же выдаются документы гораздо более позднего периода.

Вопрос, которого далее надо коснуться в этом общем обзоре, — это, конечно, тематика. Тематика наша была с самого начала революции построена на пересмотре целого ряда вопросов с точки зрения марксистской, научной исторической теории. Этот пересмотр дал очень много плодотворного. Если вам угодно знать, как на этот пересмотр смотрят на Западе, я вам приведу мнение Лефевра: Лефевр — французский историк, известный в кругах специалистов как автор большого, серьезнейшего монографического исследования о французском крестьянстве перед революцией, человек, который определенно заявляет, что он пошел от русской школы, что он под влиянием русских исследователей стал писать свою работу, человек, который в течение всех этих 25 лет не перестает живейшим образом интересоваться нашей историографией.

Он, как и покойный Альбер Матъез, считает, что те западные историки, которые в самом деле обнаруживают живой интерес к науке, должны в той или иной мере следить за тем, что делают русские. Те, кто

совершенно отвернулись от советской тематики, те, кто враждебное отношение своего анализа тенденциозно повернули против нее с исключительной целью опорочения, — превращаются постепенно в историков типа рассказчиков-анекдотистов.

Достаточно сказать, что если вы начнете знакомиться с историографией французской и английской (я поясню, почему я делаю такую оговорку), то вы увидите, что существуют историки, пишущие иногда чрезвычайно объемистые и полные эрудиции труды, вроде, например, Гиро, написавшего недавно несколько томов по истории инквизиции, вроде Андре Марти, написавшего монографию о Колумбе, и т. п., но которые находятся в полном плену реакционной идеологии. Взять хотя бы эти два примера.

Андре Марти вне всяких подозрений в близости к марксизму, и не случайно монография о Колумбе приводит его к следующему плодотворному выводу: хотя Колумб открыл Новый свет, но все же его борьба с инквизиторами, борьба против порицавших его духовных лиц, была вредным делом.

А дальше течение мыслей этого историка таково: Новый свет мог бы быть открыт и не в 1492 г., а несколько позже: дело терпело отлагательства, — но зато не были бы потрясены авторитеты святых отцов инквизиции. Началось с Колумба, а кончилось большевиками!

Таков вывод «ученого» Марти.

Другой пример — Гиро, который тоже с нами ровно ничего общего не имеет и с решительным порицанием отзывается о том, что у нас делается эти 25 лет. Он написал ученый труд — историю инквизиции, — причем перерыл много источников, он был допущен в тот драгоценный папский архив, который называется «архивом пропаганды веры» в Риме. Он написал историю инквизиции, и вот его выводы. Инквизиция — это непонятое неблагодарным человечеством очень отрадное и полезное явление. Конечно, за ней бывали грехи, но маленькие, а в общем это — почтеннейшее учреждение. И он исписал большие томы для доказательства этого «смелого» тезиса.

Я назвал Гиро, который может быть назван исследователем только в смысле очень большой и серьезной архивной эрудиции. Его нелепые выводы, с нашей точки зрения, совершенно карикатурны, политическая страсть в нем говорит все время, но когда он занимается своим делом, он, во всяком случае, хоть привлекает массу источников.

О других и этого сказать нельзя.

Что касается немцев, я укажу только, что, если кто не следил за этим, тот не может себе представить, до какой степени возможно былую германскую историческую науку превратить в то, во что она сейчас превратилась за это последнее десятилетие. Превратилась же она в сплошной безобразный, отталкивающий анекдот. Недостойно было бы для нас как-нибудь сопоставлять то, что мы сделали за 25 лет, и даже то, что мы сделали за каждый из этих 25 годов, с тем, что делалось за эти годы в Германии. Не думайте, что все в Германии подчинилось Гитлеру. Историки, которым удалось бежать от Гитлера, прямо так и говорят: в Германии история упразднена совершенно. Мало того, там имеется политический заказ: систематически опровергнуть очень многое, что было сделано прежней историографией, кроме той, правда очень обширной, немецкой историографии, которая является питательными корнями фашизма.

Это все я говорю для того, чтобы с самого начала указать вам, что за наши 25 лет худо или хорошо, много ли, мало ли, но то, что мы сделали, в высшей степени выдерживает сравнение с тем, что за этот период делалось в Европе и Америке. Обильнейшая масса рецензий на

некоторые наши труды, вышедшие в переводах в Европе и Америке, показывают, как нас признают и ценят. Если эта тематика оказала благотворное влияние у нас, а на Западе заставила многое пересмотреть, побудила включить марксистский метод в научный оборот, пустить его в ход в таких областях истории, где он до того никогда не употреблялся, то нужно напомнить, что в Западной Европе были до русской марксистской школы уже предпосылки, была известная почва для восприятия марксистской мысли. В высшей степени любопытно было бы проследить, как какой-нибудь Роджерс, знаменитый английский историк, или Эшли и другие сплошь и рядом были близки, если не к марксизму в точном значении, то чрезвычайно близки к историческому материализму, совершенно сами того не понимая и уподобляясь известному мольеровскому герою, который очень удивился, когда ему сказали, что он все время «говорит прозой». Они тоже писали чрезвычайно много такого, что сейчас используется нами и может быть использовано мировой наукой.

Нельзя сказать, что в 25-летней истории советской историографии наблюдалось сплошь плавное, благополучное течение, что все эти 25 лет историография проделывала свое дело без сучка и задоринки, без блужданий и заблуждений. Советская историография и некоторые из советских историков пережили период чрезвычайно опасной идеологической заразы. Тут уже говорилось в предшествующем докладе — Б. Д. Грековым — о так называемой школе Покровского. Я сейчас коснусь этой школы и коснусь последствий ликвидации этой школы с той точки зрения, которая, как мне кажется, сейчас, в этом торжественном заседании, и в этом коротком докладе, где я стеснен регламентом, более уместной, чем если бы я пустился в подробные разглагольствования о чисто научной методологической ошибочности и недопустимости воззрений Покровского и сбитых им с толку людей.

Дело в том, что в тот момент, когда было сказано высокоавторитетное слово, прекратившее опустошение умственное, которое производила школа Покровского в нашей историографии, было как раз время сделать этот отпор. И тогдашнее выступление Иосифа Виссарионовича, С. М. Кирова и А. А. Жданова — выступление, указавшее, куда, собственно, ведет в своих последствиях эта школа, — сыграло, в самом деле, незабываемую, колоссальную роль. Нас с вами тут интересует только одна черта, только одно последствие тех усилий, которое ученики и пропагандисты Покровского в своей «теории» пускали в ход для пропаганды. Школа Покровского упразднила в полном смысле слова русскую историю — ни более, ни менее. Не то было самое важное, самое вредное, что они абсолютно не понимали и не хотели понимать многого. И даже не то было вреднее всего, что они говорили дикие нелепости вроде того, что в 1812 г. русские помещики напали на Наполеона или что в 1610—11—12 гг. Минин и Пожарский возглавляли «черносотенное движение». Даже не во всем этом вздоре было главное. Главное было в другом: в том тоне, в какой-то постоянно иронической улыбочке, с которой они подходили к русской истории. Для них это было нечто совсем несерьезное, все в русской истории были дураки, пьяницы — все эти цари, министры, дипломаты; все это — одно сплошное безобразие, о котором не стоит не только говорить, но и вспоминать. Можно обходиться без имен, без дат, без всего того, что касается русских исторических деятелей. Ничего путного нельзя отсюда извлечь — это был основной тон.

Каким образом получилось то, что образовалось великое государство, превосходящее Римскую империю, империю Карла V, Наполеоновскую империю, величайшее из самых великих зданий, которое когда-либо люди строили, государство, занимающее половину Европы и половину Азии? Кто же это строил? Как это случилось, где был этот народ? Это

школу Покровского ничуть не занимало. Да и народа, по существу, не было, он родился совсем недавно, около Покровского и его школы, и больше никого никогда не было. Были богатыри — да и это вздор! Все эти богатыри — что-то в высшей степени курьезное, морально предосудительное, нелепое. Все это лишь показывает, что у русского народа была распутная фантазия, что они выдумали этих мифических богатырей — этого Илью Муромца, Святотора, — но и немифических тоже не было. Все это можно отместить прочь, все это выдумка!

Повторяю снова: я не обвиняю всех этих лиц в субъективной умышленности, в сознательном желании подорвать всякую веру в Россию, всякое уважение и любовь к ее великому прошлому. Были, конечно, и такие, было много показано и рассказано, многое было впоследствии обнаружено. Я отмечаю обвинение в субъективном вредительстве, в желании подорвать всякий патриотизм, всякую любовь к отечеству, я говорю об объективных последствиях, а они были таковы, что если бы этим безобразным извращениям не был во-время оказан отпор, то сейчас мы находились бы не в таком положении, в каком находимся, и гитлеровская банда чувствовала бы себя несколько лучше, чем она сейчас себя чувствует!

Продельвалось, в сущности, моральное разоружение русского народа. Если народ состоит из каких-то не то пьяниц, не то лежебок и лентяев — Обломовых, — если, кроме Обломовых, никого нет, то много ли стоит такой народ? Может быть, в самом деле правы «белокурые арийцы», которые бросают младенцев этого народа в колодцы и которые вообще хотят этот народ извести совсем, если он до такой степени ничкуда не годится? Может быть, прав генерал фон Рейхенау, заявляющий что никаких культурных ценностей в России нет? Повторяю, многие из тех, кто принадлежал к этому течению, не думали о таких последствиях безобразной проповеди школы Покровского. Они сами, может быть, ужаснулись бы, если бы им это показали. Но объективно они делали то, что требовалось злодеям, на нас сейчас напавшим, которые хотели бы, конечно, вместо народа, который оказал им отпор и который их в конце концов раздавит, найти безгласную, инертную массу, покорных рабов.

Это было. Я не буду больше останавливаться на этой странице, скажу только, что с того момента, когда началась борьба против этой школы, борьба, в которой Академия приняла живое и благотворное участие, советская историография уже таких больших кризисов не испытывала, и она делала свое плодотворное научное дело.

Теперь я перехожу к тому моменту, о котором хотелось бы поговорить несколько подробнее.

Вот как поставлю вопрос. Передо мной тут цвет русской науки. Умственные усилия многих из вас участвуют непосредственно в той самой борьбе, которая идет под Сталинградом и во всех тех местах, где льется русская кровь.

Ваши изобретения, ваши поиски в области техники, в области добывающей и обрабатывающей промышленности, ваши умственные усилия непосредственно вкладываются в эту борьбу. А ведь эта борьба — то единственное, чем сейчас мы должны жить и чем мы живем.

Естественно, что, может быть, когда мы, историки, докладываем вам вкратце о том, что мы делали за 25 лет, у всех назревает такой вопрос: сделала ли советская историография все то, что она должна сделать в этот момент? Ответить на этот вопрос можно так: она старается это сделать, она не может разом, очень круто, очень быстро восполнить многое пропущенное. Этого от нее нельзя требовать, но она делает и должна делать то, что может.

С какими требованиями, с каким вопросом советская общественность может обратиться к советской историографии, к историкам непосредственно в сегодняшний день? Естественно, от нас, историков, требуют разъяснения: что такое Советский Союз, Россия, на которую сейчас произведено это нападение, и что представляют собой напавшие? Другими словами: что представляет собой, хотя бы за последние 200 лет, русская история и история германского народа?

Это непосредственная задача. За ней следуют другие: какова вообще международная обстановка, как складывается международная обстановка, каково дипломатическое прошлое России? Все это злободневно важные вопросы.

Еще до нынешней войны, когда она маячила еще только на горизонте и гитлеровские негодяи, которые готовили истребительный и грабительский поход, еще только заканчивали свои приготовления, — опять-таки оттуда же, откуда в свое время был дан отпор Покровскому, последовал сигнал. Было признано в спешном порядке необходимым ознакомить советскую общественность с тем, что такое вообще международная борьба, что такое дипломатия, что такое война, как дипломатическая борьба и военная борьба велась во всемирной истории.

Нужно было делать это дело сейчас же. Создание той книги, над которой советские историки призваны были работать, было делом политически необходимым. Если эта погибшая школа Покровского морально разоружала русский народ, то такая книга и такого рода устремления, которые выразились в создании истории дипломатии, должны были вооружить советскую общественность и советские народы.

Я сказал, что советская историография делает то, что может, и прибавил, что много времени было пропущено. Но в данном случае несправедливо было бы все сваливать на то, что несколько лет выпало из-за временных заблуждений некоторых советских историков. Дело было в грехе не только советской историографии, а дореволюционной историографии тоже. В том-то и дело, что если у нас во многих областях исторического знания были великие предшественники, то именно в этой области ничего почти не было сделано. Почти ничего — настаиваю на этом, и напрасно мне могут показать библиографию книг, касающихся в той или иной мере дипломатии или войны. Настоящая научная история не была создана. Этим предметом у нас мало интересовались и не занимались, и этот грех — повторяю и настаиваю — лежит также и на дореволюционной историографии.

Вот почему теперь, когда историки делают все от них зависящее, и нужно отнестись в данном случае терпимо к тому, что не все сразу они могут дать. Возьмем хотя бы вопросы, которые сейчас и советская общественность, и партия, и правительство имеют полное право поставить перед историками: «Отвечайте: как складывалась история русско-германских отношений, как в мозгах хотя бы этой дикой шайки, имеющей пока еще опору в миллионах одураченных немецких граждан, могла образоваться идея о физическом истреблении русского народа, о полном покорении России? Как это случилось?» Что мы ответим? Сейчас советскими историками эти вопросы усиленно разрабатываются. Сейчас дело будет сдвинуто с мертвой точки, но еще до революции история международных отношений разрабатывалась из рук вон плохо. Историки не имели даже понятия о многом, о чем должны были знать.

Прочитайте хотя бы наших больших историков. Я исключаю Сергея Соловьева — этот человек высится гигантом во всех областях русской истории. Во многом он ошибался, во многом устарел, но всюду, где он прошел, чувствуется мощь настоящей ученой десницы. Но возьмем ученого, который превосходил его талантами, который превосходил его по-

пулярностью, который имел большое влияние на ряд поколений, — возмем Ключевского. Разве Ключевский исполнил свой долг — а это был долг всех историков, и дореволюционных и послереволюционных — вооружить свою страну историей дипломатии и войн? У Ключевского вы найдете любовное, прекрасное исследование истории Московского периода, меньше и хуже — Петербургского периода, но интересующей нас точки зрения у Ключевского вы почти не найдете. Вам будут рассказывать разные очень любопытные истории, касающиеся внутреннего быта и т. д., а по дипломатии или по войнам не найдете почти ровно ничего. Это не интересовало, это считалось неважным, этим не занимались. Я нарочно указал на одного из крупнейших дореволюционных историков. Если бы у меня было время, я бы подробно развил эту мысль и привел бы примеры.

Сейчас позвольте мне несколько углубиться и остановиться на том примере, который я привел относительно внешней истории России и внешней истории Германии.

Возьмите внешнюю историю Германии. Разве еще и сейчас не приходится слышать глубочайше ошибочные вещи о том, что творится? И это основано на полном непонимании истории. Когда некоторые историки говорят, что германский народ сам по себе чуть ли не до 22 июня 1941 г. был народ хоть куда, но что вот свалилась откуда-то неблагоприятная шайка во главе с Гитлером и эта шайка творит свои злодеяния, а прошлая история, реакционные традиции, глубоко укоренившиеся у немцев, тут будто не причем, то на чем этого основано? На незнании германской истории. Сейчас мы боремся за свое существование против этих извергов, но если бы в самом деле люди, выходящие из средней школы, уже издавна знали, как они должны знать, опасность, грозящую нашей стране, если бы они знали германскую историю как следует, то они знали бы, что задолго до того, как появился этот полуграмотный ефрейтор, в Германии существовала подробно развитая теория уничтожения России, уничтожения «глыбы, висящей над Европой». На ненависти и презрении к России воспитывались целые поколения, когда еще и слуху ни о каком Гитлере не было. Ведь об этом ничего не говорилось нашими историками.

Что в Германии и именно в ее руководящих слоях прочно укоренилось убеждение, что войны для Германии — доходнейшее предприятие и что после войны 1870—1871 гг. установка взята на обстоятельно продуманное создание дипломатических условий для отдаленного, но неизбежного нападения на Россию, — это тогда не было понято. Щедрин в своем бессмертном «За рубежом» был чужд каких бы то ни было национальных антипатий и пристрастий. Он просто был самим собой, т. е. гениальным провидцем и гениальным проницательным публицистом, и, проезжая через Берлин, анализируя впечатления, которые наслаивались давно, еще со времени Франко-прусской войны 1871 г., он говорил: «Берлин существует для человекоубийства». Это он говорил, когда войны не было, когда был «мирный» период, т. е. тот период, когда Бисмарк считал еще невозможным напасть на Россию. Предостерегающий голос Щедрина тогда не был услышан. Не хотели у нас видеть звериной пасти, которая никогда не закрывалась. Германия не нападала, пока не могла напасть. Глубочайшего презрения к России она никогда не скрывала. Разве знали у нас книгу симпатичного Бисмарку Виктора Гена? Бисмарк — гениальный дипломат, типичный для своего поколения и для своего класса — для господствующего класса, — и он знал, что еще не пришла пора расправиться с Россией, но с большим участием и интересом расспрашивал он о Викторе Гене Теодора Шимана. Прочтите Виктора Гена, писавшего 60 лет тому назад. Это враг, который считает

необходимым не признавать полноценной ту особь млекопитающих, которые называются русскими. Ведь всего этого у нас не знали. Во всем этом царило у нас невежество.

Мало того. Невежество шло вглубь. Мало понимали и во всей истории Германии. Никогда, сколько живет Германия, подлинной, победоносной революции там не было. Там всегда, как с горечью сказал Стефан Цвейг, бежавший от Гитлера, удавались только реакционные революции. Когда негодяйская гитлеровская шайка говорит, что она проделала революцию, то ведь здесь она по привычке к воровству ворует даже и чужие термины. Они «национал-социалисты», они «проделали революцию». Когда они говорят о своей революции, о том, как они подожгли рейхстаг и как стали разбойничать потом направо и налево, то это они называют революцией. Именно такие «революции» удавались в Германии. Другие революции были, но не удавались.

Были «авортивные» революции, мимолетные, вроде революций 1848 или 1918 годов. А прочная, подлинная власть в Германии всегда возвращалась к тем, кто сулил в будущем удачное ограбление соседей, «молниеносный» успешный разбой. Нам должно было прежде всего знать, кто рядом с нами живет. У нас много цитируют Маркса и забывают один из любимейших его афоризмов, что невежество — это прежде всего бессилие, это прежде всего слабость, и этой слабостью многие у нас болели очень долго, причем, снова повторяю, несправедливо было бы винить в том, что за 25 лет все это запоздалое дело еще не сделано и что только теперь оно начало делаться и у нас начинают понимать историю германской внешней политики.

Среди той плеяды вопросов, в которых наша общественность обнаруживала незнание, фигурирует, например, и вопрос о германо-русских отношениях, о том, какую роль сыграл русский народ в германской истории. Этого ведь также очень многие совершенно не знают. Германские шовинистические историографы всегда скрывали это в Германии, а наша история и публицистика ничего не сделали для того, чтобы правильно осветить эту проблему.

1762 год. Гибель Пруссии: Совершенная гибель, гибель неизбежная, безысходная, и не потому, что русские побывали в Берлине, и не потому, что русские заняли Восточную Пруссию и пруссаки присягнули Елизавете Петровне и что присягнул даже философ Кант, — не только поэтому Пруссия, казалось, погибла: она погибла потому, что исхода не виделось никакого, потому что — всегда это от века так было и будет всегда — Пруссия погибала, когда она вела длительную войну с Россией, несмотря на то что у нее был Фридрих II, несмотря на то, что он одержал несколько побед над русскими генералами. Ее спасли счастливые обстоятельства, абсолютно неожиданные для Фридриха, который был близок к самоубийству.

Перенеситесь через 45 лет. Тильзитский дворец. Александр Павлович беседует с Наполеоном; и вот слова Наполеона в несколько ином виде, но сохраняющие смысл, попавшие в первоначальный набросок тильзитского трактата: его величество император французов согласен оставить Пруссию в качестве самостоятельного государства из уважения к желанию его величества императора всероссийского, т. е. только из любезности к Александру Павловичу Наполеон согласен тот обрубок, который он оставил от Пруссии, сохранить все-таки на белом свете.

Это второй момент.

Третий момент — 1871 год. Бисмарк прославился знаменитой своей фразой, сказанной в рейхстаге впоследствии: «Мы, немцы, никого, кроме бога, не боимся». Он тогда же натолкнулся на опровержение: в Англии было указано, что Бисмарк, напротив, может сказать, что он, кроме

бога, всех боится, только бога и не боится. Этот самый Бисмарк в 1871 г. ведет с Жюлем Фавром, с Тьером переговоры о мире. Мы теперь знаем, что он был очень неспокоен тогда, читая шифрованные телеграммы, которые ему посылались из Петербурга. Он знал, что все, решительно все, зависит от Александра II, что в Восточной Пруссии, кроме пожарной команды, никого нет, что русским стоит продвинуться только — и прахом полетят все победы над Францией. Я приведу только маленькую иллюстрацию: Бисмарк требует $7\frac{1}{2}$ млрд. франков золотом контрибуции. Об этом дается знать в Петербург. Посол германский шифрованно доносит в главную квартиру германскую, которая была в Версале, что государь император на вчерашнем выходе в Зимнем дворце, когда поклонился, то, кажется, нахмурился. Бисмарк митом сбавил контрибуцию до 5 млрд. франков. Неизвестно даже, нахмурился ли Александр II или так только, случайно бровью шевельнул. Все эти и аналогичные обстоятельства русская историография должна была уяснить, — но не уяснила. И отраднo то, что сейчас советские историки хотят восполнить эти бесчисленные пробелы.

Сейчас делается много. Самое важное — даже не выход брошюр или книг: самое важное, — что наши аспиранты, люди, которые идут нам на смену, часто не хотят ничем другим заняться кроме этого. Когда приходят ко мне люди, которые хотят посоветоваться со мной по научной части, не думайте, что я им даю ту или иную тему по дипломатии, по войне! Они сами приносят свои темы, у них мысли в эту сторону направлены — это у нашей молодежи прямо стихийное движение, — и они уже сделали значительно больше, чем прежде делалось. И в этом залог будущего расцвета нашей исторической науки.

Я старался дать вам посильный ответ на вопрос, как молодое поколение историков, которое я знаю и которое работает около нас, смотрит на свои ближайшие задачи.

Оно совершенно сознательно хочет наверстать пропущенное по стародавним ошибкам, ошибкам, которые тянулись в течение всего XIX столетия и которые пора, наконец, исправить.

Теперьшний наш юбилей, который подвел итоги тому, что за 25 лет сделано, был бы не полон, если бы мы, историки, не делающие всего того самого необходимого, что делаете вы — техники и естественники, если бы мы не сказали и относительно себя, что мы тоже сознаем необходимость помогать общему делу обороны, помогать делу идеологического вооружения страны и что те, кто идет на смену нам, выросли в огне теперешней битвы и будут делать это дело дальше и нести это знамя вперед.

Мне представляется, что подведение итогов было бы не совсем полно, если бы мы всего этого не сказали.